

ВЫБОР

В.И. Дёгтев

Посвящается Юрию Бондареву

Он был с Дона, она — с Кубани. Он служил гранатометчиком, а она — в полевой пекарне. У него в прошлом было много чего разного, в основном неприятного, что сейчас, на войне, казалось несущественным: работа, жена, семейные дразги. У нее где-то в Армавире, говорили ребята, осталась старушка-мать, которую не на что было лечить. Потому и поступила она в армию хлебопеком. Восемьсот рублей в день «боевых» — где их, такие деньги, в России заработаешь?

Они не обмолвились ни единым словом друг с другом—она нарезала хлеб, он подходил к раздаче в очереди таких же, как сам, грязных, пропотевших солдат, и молодых, безусых «срочников», и угрюмых, в основном, «контрактников», у которых, у каждого, была в жизни какая-нибудь трагедия (от хорошей жизни на войну не вербуются), подходил, молча брал свою пайку, любил он с поджаристой корочкой, даже чтобы чуть-чуть хлеб был подгорелый, — и она в последнее время стала оставлять ему именно такой.

Она молча клала в его огрубелую ладонь пышущий жаром пышный пахучий хлеб, пальцы их соприкасались, они вскидывали друг на друга глаза — у него они были серые, стального, немного зеленоватого цвета, у нее — карие, выпуклые, как у породистой, преданной собаки; в последнее время глаза у нее сделались отчего-то золотистые и с янтарным оттенком. Вот и все было их общение.

Он знал, что зовут ее Оксана, редкое по нынешним временам имя. Она, конечно же, имени его не знала. Да и зачем ей, молодой и красивой, имя какого-то гранатометчика в потертом бушлате и с проседью, «дикого гуся», «пса войны», сбежавшего на эту непонятную, необъявленную войну от нужды, беспросветности и тоски.

Нет, кажется, раза два он сказал ей «Спасибо!» — а она ответила «Пожалуйста!». Вот теперь уж точно — все!

Да, несколько последних лет он не жил — существовал. В тоске и беспросветности. Он не верил больше женщинам. Казалось, все они сделались падкими на деньги, тряпки и удовольствия. Телевизор с рекламой безопасного секса, Багам, Канар и французского парфюма сгубил русскую бабу. Вместо того чтобы мечтать о детях, они теперь мечтают о колготках от Версаче. И с некоторого времени он стал рассуждать совсем как эти «звери», с которыми приходилось сейчас воевать: русские женщины продажные, живут даже с неграми («лишь бы человек был хороший»), и потому нет у нас будущего, и весь народ обречен на вымирание.

Он был согласен с этим — как это ни прискорбно. В прошлом служил он в милиции, участковым, и насмотрелся такого, что даже не рисковал никому рассказывать, — не поверят. Он любил свою жену-пианистку, она же считала его неровней себе, не парой, а потому спуталась с каким-то плюгавым настройщиком роялей и постоянными вздорными заявлениями в УВД сначала вынудила начальство отобрать у него, заядлого, с

шестнадцати лет, охотника, ружье, которым он будто бы ей угрожал, затем лишить его табельного оружия, а потом и уволить из «органов». Квартиру, которую он зарабатывал, поделила, но ключи не отдавала, жила в ней одна. Он помыкался-помыкался, то у родителей, то где придется, и пришлось соглашаться на то, что она ему предложила (и то спасибо соседям, засовестили ее), и досталась ему после разъезда конура, в прямом смысле, без всяких кавычек. Ах, как тоскливо и горестно бывало ему в той конуре, особенно вечерами! Одно оставалось — выйти, взять бутылку. Пока деньги были...

А тут началась война. И ноги как-то сами собой принесли его к казачьему атаману, а потом в военкомат, и взяли его на войну, и направили в отдельный казачий полк по армейской специальности и с армейским званием — гранатометчиком и младшим сержантом.

Так и служил он, уже второй год, бывший старший лейтенант милиции — младшим сержантом. За это время он сделался настоящим «псом войны». Уже не являлись ему во сне убитые им «звери», уже не дрожали в бою руки. Недавно пришлось пристрелить своего — уж очень парень был труслив, чуть что, сразу же у него паника, в бою своим несдержанным поведением чуть всех не угробил, — пришлось, под шумок, щелкнуть его. А то еще на днях приезжал в полк известный своими мерзкими интервью с так называемыми «полевыми командирами» один московский журналист, — этого просто подставили под пули тех, кого он воспевал; после чего некоторые сослуживцы, даже офицеры, подходили к нему и молча жали руку. Что ж, на то она и война...

Вот такая теперь была у него жизнь.

Но в последнее время суровая его жизнь стала скрашиваться присутствием Оксаны в их полевой походной пекарне. Оксана как-то выступала в День Победы перед солдатами. Среди прочей самодеятельности она плясала чечетку, или, как называют специалисты, — степ. Когда-то в прошлом она занималась в танцевальном кружке при Доме пионеров, и в тот день, в святой для всякого русского День Победы решила, видать, потряхнуть стариной. На ней были блестящие хромом сапожки, которые полковые умельцы подбили так, что они и звенели медными подковками, и скрипели вложенной между стелек берестой.

Ее стройные, немного полноватые в икрах ножки так и мелькали, так и носились по дощатой сцене — стоял топот, стук, скрип, — а солдаты сидели, кто на чем, некоторые — раскрыв от восхищения рот, сидели и смотрели на это чудо, и не один, верно, плоховато спал в ту ночь.

Да, она была настоящая королева их полка. Многие вздыхали, некоторые даже пытались чего-то там предпринимать, да только без толку. Как истинная казачка, она знала себе цену, строго держала себя. Поэтому он даже и не пытался...

И вот сейчас ее внесли на носилках двое дюжих, измазанных глиной десантников.

Внесли в подвал-бомбоубежище, где когда-то выращивали шампиньоны (ими до сих пор еще тут кисловато пахло), а теперь оборудован был полевой госпиталь, и где он получал индивидуальные аптечки на весь взвод.

Она была по самый подбородок укрыта окровавленным то ли пледом,

то ли ковром, то ли одеялом. Среди раненых и медобслуги пополз шумок: «звери» обстреляли хлебовозку, где, случилось, и сами получали дармовой хлеб.

Ее положили возле печки-буржуйки, в которой гудело замурованное пламя и наносило тополевым, горьковатым дымком, который будил в памяти осенние субботники и запах сжигавшейся листвы.

Глаза ее горели каким-то странным, лихорадочным, янтарным огнем. В них прямо-таки плескался непонятный и потому страшный пожар. Он подошел к ней. Она угадала его и улыбнулась.

— А-а, Роман! Здравствуй!

Он удивился: откуда знает его имя? Ведь они не знакомились. Они даже ни разу не поговорили. «Спасибо» — «Пожалуйста» — вот и все! Она пекла хлеб для всего полка. Он был одним из трех тысяч солдат. Все солдаты — на одно лицо... Но на душе сделалось так тепло и так легко, хоть пой, хоть скачи козленком.

Видишь, как меня? — продолжала говорить она. — Ну, ничего, это ведь не страшно. И не надолго. Мы еще потанцуем. Ведь правда, Рома?

Конечно, конечно. Ты только не говори много. Береги силы. Потом мы с тобой наговоримся. И натанцуемся. Ты еще покажешь класс — в своих скрипучих сапожках-то...

Сапог... Сапог! — она схватила его за руку, притянула к себе, приложила ладонь к своей щеке — щека горела огнем! — зашептала свистящим полушепотом, с перехватом дыхания: — Слушай, будь другом... Я стеснялась этих ребят-санитаров, чужие люди, а тебя попрошу, будь другом, сними с меня левый сапог — жмет, вражина, мочи нету! Или разрежь его, что ли, а? Он кивнул и приподнял край задубевшего от крови одеяла.

Ног у нее не было по самые колена. Его бросило в жар. Он еле сдержался,

чтоб не отшатнуться. Стоящая у бетонного столба молоденькая медсестра, помогавшая размещать раненых, чуть слышно вскрикнула, увидев это, и заткнула рот воротом халата, испачканного кровью, грязью и зеленкой.

Он медленно опустил край одеяла (или ковра?), поправил его и приблизился к ее лицу. В глазах Оксаны, оглушенных промедолом, прочитал облегчение, будто сапог и в самом деле перестал мучить.

В подвале сразу же отчего-то сделалось тихо. Так тихо, что слышен стал лязг и звон инструментов за ширмой, где готовили стол для операции.

— Знаешь что... Оксана дорогая? — сказал он хриловато, но твердо. — А выходи-ка ты за меня... за меня замуж, — закончил он и словно груз сбросил.

Она широко распахнула глаза. В них были слезы.

— Что? Замуж? — сейчас в глазах уже плескалась радость. Да, радость! Радость золотая, неподдельная. — Я знала, что ты рано или поздно заговоришь со мной. Я знала... Но замуж?! — и тут же промелькнуло недоверие в ее тоне, даже настороженность появилась в интонации. — Но почему именно сегодня, именно сейчас?

— Боюсь, что завтра... завтра я не осмелюсь. Так что сейчас решай.

Она коснулась его темной загорелой руки. Закрыла янтарные свои,

прекрасные от счастья глаза и прошептала:

— Какой ты... Ведь правда, все у нас с тобой будет хорошо? Меня сейчас перевяжут, и мы с тобой еще станцуем на нашей свадьбе... Ах, как я счастлива, Ромка!

У бетонного столба стояла молоденькая медсестра и беззвучно плакала. В подвале висела звонкая, чистая, прямо-таки стерильная тишина, запах грибов куда-то пропал, и лишь горьковато припахивало от печки тополевыми поленьями...